

Н. СТРАХОВ

[Предисловие к переводу]

Предлагаемая читателю книга есть главное сочинение Шопенгауэра, то, в котором он вполне выразил свою мысль и для которого все остальные его писания составляют только дополнения и пояснения. Для понимания его необходимо быть знакомым с основными учениями Канта (больше всего с «Трансцендентальной эстетикой») и, кроме того, с небольшою статьею самого Шопенгауэра: *О четвероюлке корне закона достаточного основания*, вышедшею раньше этой книги. Тут он показывает, что закон основания имеет четыре вида: 1) Закон достаточного основания бытия (*ratio fiendi*) или *закон причинности*. 2) Закон достаточного основания познания (*ratio cognoscendi*), или *закон основания и следствия*. 3) Закон достаточного основания бытия (*ratio essendi*). 4) Закон достаточного основания действия (*ratio agendi*), или *закон мотивации*. Первому виду подчинены все *предметы эмпирической реальности*, все, что является в формах пространства и времени, т. е. *материя*; второму виду подчинены *понятия* или отвлеченные представления; третьему виду подчинены формы внешнего и внутреннего чувства, т. е. *пространство и время*, четвертому виду подчинены одушевленные существа, или, строго говоря, для каждого познающего только один объект — его собственный *субъект желания*.

Для внимательного читателя эти указания могут быть достаточны. Прибавим разве еще, что в силу *закона бытия*, например, каждая часть пространства и времени *требует* существования соседних ей частей; эти части, очевидно, однако, не суть ни *действия*, ни *следствия* первоначально взятой части.

Относительно терминологии перевод вообще не представил затруднений; одно только отступление сделано в передаче немецких терминов, и на него нужно обратить внимание читателя. Слово Vernunft переводилось, как и обыкновенно, словом *разум*; но слово Verstand везде переведено словом *ум*, а не *рассудок*, по той причине, что у Шопенгауэра под Verstand разумеется не исключительно способность понятий, как у Канта, а некоторая более обширная способность, в определенном отношении соответствующая кантовской *чувственности* (Sinnlichkeit) соединенной с кантовским *рассудком* (Verstand); такую способность прилично, кажется, обозначить общим именем *ума*.

Anschauung везде переводилось *созерцание*, слово и точно передающее смысл и имеющее очень удобный соответственный глагол *созерцать* и прилагательное *созерцательный*.

Можно вообще ручаться, что смысл подлинника передан точно и течение и сила мыслей его вполне сохранены; но другое дело — та удивительная ясность, живость и блеск речи, которыми отличается Шопенгауэр и которые часто не отделимы от его орудия, немецкого языка. Шопенгауэр вообще один из первых писателей в целой всемирной литературе, и по своей форме и по содержанию. Чтобы наслаждаться и поучаться им, вовсе не нужно быть непременно его последователем, держаться его системы. Все у него до такой степени проникнуто чувством и правдой, что действует на нас с неотразимой силой, даже если мы не согласны с теоретической постановкой дела. Это обилие внутреннего содержания у Шопенгауэра очевидно находится в связи с его взглядом на философию. Он исповедовал, что *воля*, нравственная сторона человека, имеет и должна иметь первенство над умственной стороной, и что само наше познание не имеет какой-то самостоятельности, а черпает всю силу из созерцания, из непосредственного отношения к действительности. Такое *подчиненное* положение, даваемое разуму, есть резкая и чрезвычайно важная особенность философии Шопенгауэра. Можно сказать, что в силу этого он составляет противовес и

протест против всех других современных ему философий, даже вообще против всего духовного направления Запада (он часто сам говорит, что достиг выводов, которых и не подозревает «Западная мудрость»). Ибо это направление характеризуется тем, что главный центр тяжести полагается в разуме, что за познанием признается самостоятельность, по которой оно может двигаться независимо от всей остальной жизни и даже ей самой давать твердые точки опоры. Правда, были некоторые мыслители, которые заявляли в этом отношении другие начала, подобные шопенгауэровским; но можно решительно утверждать, что ни один не проникся ими вполне, как Шопенгауэр. Он не оставил их на степени одной теории, а действительно воплотил их в приемах своего исследования и писания. Поэтому у него нет не только целых томов, а можно сказать и одной страницы, где бы дело шло только о сплетении понятий, о новых и новых воздушных построениях, у которых давно ушла из-под ног живая почва, дающая им смысл. Ничего бездушного и сухого не найдется у Шопенгауэра. Каждое теоретическое начало он берет в его глубочайшем значении, в связи с самым корнем жизни, таким образом он достиг своего «метафизического открытия», что мы стоим лицом к лицу с сущностью вещей и что эта сущность — воля; так он превосходно разъяснил существенный прием и жизненное значение художественного творчества, так он постоянно идет и наконец восходит до высшего человеческого интереса, до понимания религии. Он показал и разъяснил, что пессимизм есть основная черта религиозного настроения. Пессимизм может быть различен, смотря по тем поводам, которые его возбуждают. Есть пессимизм пошлый и даже гадкий. Но относительно Шопенгауэра следует признать, что у него пессимизм имеет настоящий религиозный характер. Глубокая серьезность и даже суровость нравственного настроения, могущая почти испугать читателя, постоянно слышится в речи Шопенгауэра. Зло, которое он видит в мире, оценивается им по его действительному достоинству: зло нравственное для него несравненно важнее зла физического; он достигает до самого корня этого зла, эгоизма, и последовательно приходит к своему чистому идеалу, отрицанию эгоизма, отсечению эгоистической воли. Таким образом, книга Шопенгауэра может служить прекрасным введением к пониманию религиозной стороны человеческой жизни. Кто был чужд или стал чужд религиозного настроения, тот найдет здесь поучение, исходящее из самых доступных точек зрения, из материалистического и эгоистического взгляда на жизнь. За Шопенгауэром нужно признать вообще великую заслугу относительно понимания религии; известно, с какою силою и верностью он указал, например, на чистые религиозные элементы в индийских религиях, браманизме и буддизме. По всем этим открытиям и, главное, по тому своему духу, который к ним привел, книга Шопенгауэра есть одно из истинных чудес германского глубокомыслия; он выразил некоторую тайну человеческой души с такою силою и ясностью, которая никогда не забудется. Но если бы читатель и не был в силах подняться до тех высоких взглядов, до которых дошел Шопенгауэр и которые он сам выставляет какою-то загадкой, утверждая их со всею своею энергиею и, в тоже время отказываясь от их полного понимания, то и тогда один пессимизм этого философа, если мы поймем его, даст нам более достойное нравственное настроение, чем тот благодушный оптимизм, то наивное довольство земной жизнью, в котором мы теперь живем и который так естественно соблазняет нас в наше относительно спокойное время, при таком порядке, богатстве, многолюдстве и движении, какого еще никогда не видала история. Нужда, зараза, война и всякие бедствия конечно не перестают; но, вообще говоря, никогда еще столько людей так спокойно не жили и не наслаждались земными делами и благами, как в наше время, и та тоска, то внутреннее беспокойство, которое слышится и по временам прорывается среди этого благополучия, обыкновенно совершенно заглушается общим тоном жизни и даже у самих сознательно тоскующих разрушается в попытке, цель которых то же наивное довольство. В этом отношении книга Шопенгауэра может быть горьким и полезным лекарством, может предохранить нас от наказания, неминуемо имеющего постигнуть нас за наши розовые мечтания; она закрывает все выходы к оптимизму и наводит нас на другой путь, на путь истинный, вне всякого сомнения.

Неуместно было бы в маленькой заметке критиковать систему Шопенгауэра. Заметим только, что ее неполнота и недостаточная стройность, на которую так нападают философские немецкие критики, очевидно, находится в связи с ее достоинствами — с предпочтением созерцания, внутреннего понимания дела, всяким теоретическим построениям. Выход же из этой системы, возможность перейти от этих истин к другим, более полным и глубоким, как мы думаем, указывается самую исходною точкою Шопенгауэра. Он смотрит на жизнь с точки зрения эгоизма и с этой же точки приходит и к его отрицанию. Но в силу этого к чисто-положительной стороне человеческой жизни, ко всем ее стремлениям, не истекающим из эгоизма, он отнесся скептически; эта сторона осталась для него как будто закрытою. Так, например, даже любовь в тесном смысле, то есть, любовь между мужчиной и женщиной, признается им, как известно, лишь за жестокий обман и иллюзию, в которые облачается потребность. С точки зрения эгоизма это совершенно последовательно; но очевидно также, что такая точка здесь вполне недостаточна. Этот пример — разительный. Но подобного рода замечания можно сделать и на другие учения Шопенгауэра, напр., о праве, о сострадании и т. д.

Род человеческий, конечно, представляет все те темные стороны, которые с такою силою и глубиною изображает Шопенгауэр; но жизнь людей, очевидно, содержит в себе и какие-то добрые и светлые начала, которые делают ее менее пустою и ужасною и которые мы откроем только тогда, если сумеем войти в ее интересы, следовательно, если будем смотреть на нее не с одним лишь гневом и презрением, а и с некоторою любовью и участием.

Предисловие к первому изданию

Здесь я вознамерился указать, каким образом следует читать эту книгу, чтобы, насколько возможно, понять оную. — То, что посредством ее должно быть передано, представляет единую мысль. Тем не менее, несмотря на все старания, я не мог найти кратчайшего пути для ее передачи, чем целую эту книгу. — Я считаю оную мысль тем, чего весьма долго искали под именем философии и отыскание чего, именно поэтому, считается исторически образованными людьми настолько же невозможным, как отыскание философского камня, хотя уже Плиний сказал им: *Quam multa fieri non posse, prorsquam sint facta, judicantur?* (Hist. nat., 7, 1).

Смотря по тому, с какой из различных сторон станем смотреть на оную единую передаваемую мысль, она оказывается тем, что называли метафизикой, тем, что называли этикой, и тем, что называли эстетикой; и, конечно, ей следует быть всем этим, если она окажется тем, чем я ее, как уже заявлено, признаю.

Система мыслей должна неминуемо иметь архитектурную связь, т. е. такую, в которой одна часть постоянно поддерживает другую, но не будучи то же и ею поддерживаема, краеугольный камень поддерживает наконец все остальные, не будучи ими поддерживаем, вершина поддерживается, сама не поддерживая. *Единая мысль*, напротив того, должна, как бы объемиста она ни была, сохранить совершеннейшее единство. Если же она, тем не менее, в видах ее передачи, дозволяет разделение на части, то связь этих частей все-таки должна быть органическая, т. е. такая, в которой каждая часть настолько же содержит в себе целое, как и сама поддерживается целым, ни которая не есть первая и ни которая последняя, целая мысль посредством каждой части приобретает больше ясности и даже малейшая часть не может быть понята вполне, пока предварительно не понята целое. — Между тем у книги должна быть и первая и последняя страница, и она в этом отношении останется весьма непохожей на организм, как бы содержание ее ни было сходно с последним: поэтому форма и материя будут находиться здесь в противоречии.

Само собою явствует, что при таких обстоятельствах для проникновения в излагаемую мысль нет иного выхода, как *прочесть книгу дважды*, и к тому же в первый раз с большим терпением, которое нужно единственно почерпать в добровольном доверии, что

начало почти настолько же предполагает конец, как конец начало, и равным образом каждая предшествующая часть позднейшую, почти в той же мере, как эта оную. — Я говорю «почти», ибо вполне это не совсем так, и что только возможно было сделать для того, чтобы предположить то, что менее объясняется лишь последующим, как и вообще все, что могло сколько-нибудь споспешествовать возможно легкой понятности и ясности, честно и добросовестно исполнено: это могло бы даже в известной степени удалиться, если бы читатель думал только об одном каждый раз сказанном, а не думал при чтении (что весьма естественно) и о возможных из одного выводах, вследствие чего, ко многим действительно находящимся противоречиям мнениям современности, и вероятно и самого читателя, может еще присовокупиться столь много других предвзятых и воображаемых, что тогда должно принять вид живого неодобрения то, что пока только простое непонимание, каковым, однако же, оно тем не менее может быть признаваемо, что с усилием достигнутая ясность изложения и определенность выражения едва ли введет в сомнение касательно непосредственного смысла сказанного, но в то же время не в состоянии выказать всех отношений одного ко всему остальному. Поэтому, как сказано, первое чтение требует терпения, почерпнутого в уверенности, что при втором чтении многое, или все предстанет в совершенно ином свете. Кроме того, усердное стремление к полной и даже легкой понятности, при весьма трудном предмете, должно служить извинением встречающимся кое-где повторениям. Уже органическое, а не целесообразное построение целого вынуждало иногда коснуться дважды того же самого места. Это же самое построение и весьма тесная связь всех частей не позволили, столь любимого мною, деления на главы и параграфы; а вынудили меня ограничиться четырьмя отделами, как бы четырьмя точками зрения на единую мысль. В каждой из этих четырех книг должно, главное, остерегаться, как бы не потерять, за необходимым разбором подробностей, главную мысль, к которой они относятся, и поступательное движение всего изложения. Вот первое и, подобно следующим, неизбежное требование от неблагоприятного (к философу, так как читатель сам философ) читателя.

Второе требование состоит в том, чтобы перед книгой прочли введение к оной, хотя оно не находится в книге, а появилось пятью годами раньше, под заглавием: «Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde: eine philosophische Abhandlung». (О четверояком корне закона достаточного основания — философское рассуждение). Без знакомства с этим введением, этой пропедевтикой, действительное понимание настоящего сочинения совершенно невозможно, и содержание помянутого рассуждения всюду здесь предполагается настолько, как если бы находилось в самой книге. Впрочем, если бы оно не предшествовало книге несколькими годами, то все-таки не стояло бы перед нею в виде введения, а вошло бы в состав первой книги, которая теперь, за отсутствием в ней сказанного в означенном рассуждении, представляет некоторое несовершенство вследствие этих пробелов, кои должна пополнять постоянными ссылками на оное рассуждение. Между тем мне до того противно было списывать самого себя или мучительно передавать снова другими словами уже однажды достаточно высказанное, что я предпочел настоящий путь, несмотря на то, что теперь я мог бы дать лучшую оболочку содержанию одного рассуждения, очистив его от многих понятий, проистекавших из тогдашней моей слишком большой зависимости от философии Канта, каковы, напр., категории, внешнее и внутреннее чувство, и т. п. Впрочем, и там находятся эти понятия лишь потому, что я до тех пор никогда глубоко не вникал в них, следовательно, только в виде придатков и совершенно вне отношения к главному предмету, почему и самое исправление таких мест означенного рассуждения, посредством знакомства с настоящим сочинением, произойдет в уме читателя вполне само собою. Но только когда из одного рассуждения вполне познаешь, что такое закон основания и что он означает, на что его значение простирается и на что не простирается, а также, что никак не существует прежде всего этот закон, и лишь вследствие и в силу его, словно его королларий, весь мир, что напротив, сам закон не что иное, как форма, в которой постоянно обусловленный субъектом объект, какого бы рода он ни был, всюду познается, поскольку субъект является познающим индивидуумом: только тогда станет возможным приступить к

методе философствования, отступающей вполне от всех предшествующих и впервые здесь предлагаемой.

Но то же самое нежелание списывать самого себя дословно, или же говорить вторично то же самое другими и худшими словами, после того как я сам предвосхитил у себя лучшие, было причиной и другого изъяна в первой книге этого сочинения, так как я выпустил все то, что находится в первой главе моего рассуждения «Ueber das Sehen und die Farben» (О зрении и цветах) и здесь должно было бы быть помещено дословно. Следовательно, здесь предполагается знакомство и с этим прежним небольшим сочинением.

Третье, наконец, требование от читателя могло бы даже быть молча предполагаемо, ибо оно не что иное, как знакомство с важнейшим явлением, какое в течение двух тысячелетий возникло в философии и к нам столь близко: я подразумеваю главные сочинения Канта. Я нахожу, что действие, производимое ими на ум, коему они действительно вразумительны, можно подлинно сравнить, как это уже делалось, со снятием катаракты у слепого, и если мы пожелаем продолжить сравнение, то мою цель следует обозначить так, что я тем, над которыми эта операция удалась, пожелал вручить предохранительные очки, для употребления коих, следовательно, сама такая операция есть необходимейшее условие. — Поэтому как ни прямо я исхожу из того, что совершил великий Кант; тем не менее именно серьёзное изучение его произведений привело меня к открытию в них значительных ошибок, которые я должен был выделить и выставить как подлежащие отрицанию, чтобы затем иметь возможность предпосылать и употреблять все истинное и превосходное в его учении вполне от оных очищенным. Чтобы, однако, не прерывать и не путать собственного изложения частой полемикой против Канта, я поместил оную в особое прибавление. Насколько, вследствие сказанного, мое сочинение предполагает знакомство с философией Канта; настолько, следовательно, предполагает оно и знакомство с этим прибавлением: почему в этом отношении можно бы посоветовать прочесть сперва прибавление, тем более, что его содержание находится в прямой связи именно с первой книгой настоящего сочинения. С другой стороны, по свойству предмета, нельзя было избежать; чтобы и прибавление от времени до времени не ссылалось на самое сочинение: из чего следует не иное что, как то, что и оно, подобно главному сочинению, должно быть прочтено дважды.

Кантова философия, следовательно, единственная, основательное знакомство с коей прямо предполагается при предлежащем здесь изложении. — Если же, кроме того, читатель побывал еще в школе божественного Платона, то он окажется тем лучше подготовленным и восприимчивым к словам моим. Если же он еще стал сопричастным благодению Вед, к коим доступ, открытый посредством Упанишадов, на мои глаза представляет величайшее преимущество, какое только это еще молодое столетие может выставить перед прошлыми, так как я предполагаю, что влияние санскритской литературы окажется не менее глубоко захватывающим, чем в XV столетии было возрождение греческой: и так, говорю я, если читатель посвящен уже в древнюю индийскую мудрость и успел воспринять оную; тогда он наилучшим образом подготовлен к услышанию того, что я имею ему изложить. Тогда ему это не будет, как многим другим, казаться чуждым, даже враждебным; так как я, если бы это не казалось слишком гордым, готов бы утверждать, что каждое из отдельных и отрывочных изречений, составляющих Упанишады, могло, бы, как последствие, быть выведено из сообщаемой мною мысли, хотя ни в каком случае и наоборот, последняя не может быть уже там отыскана.

Но большинство читателей уже вспыхнуло нетерпением и выражает с трудом долговременно сдерживаемый упрек, как я дерзаю предлагать публике книгу при требованиях и условиях, из коих два первых высокомерны и вполне нескромны, и к тому же в такое время, которое до того вообще богато самобытными мыслями, что в одной Германии ежегодно таковые становятся посредством книгопечатания общественным достоянием в трех тысячах полновесных, оригинальных и вполне необходимых сочинениях, и, кроме того, в бесчисленных периодических изданиях, или даже ежедневных листах? в такое время, когда

особенно нет ни малейшего недостатка в совершенно оригинальных и глубоких философах; напротив, когда в одной Германии их одновременно живет более, чем могли выставить несколько столетий? Как же тут, спрашивает смущенный читатель, дойти до конца, если бы с книгою приходилось поступать с такими проволочками?

Не находя ни малейшего возражения против таких упреков, я только надеюсь на некоторую благодарность со стороны этих читателей за то, что вовремя предупредил их, чтобы они не потеряли и часу над книгой, коей прочтете, без исполнения заявленных требований, было бы бесплодно и потому должно быть совершенно оставлено, тем более, что и без того можно прозакладывать, что она им не понравится, что она, будучи достоянием *raucogum hominum*, спокойно и скромно должна дожидаться тех, коих необычный образ мышления найдет ее подходящей. Ибо, уже помимо проволочек и усилий, ожидаемых от читателя, какой образованный человек нашего времени, когда знание приблизилось к торжественной точке, на которой парадокс и ложь вполне одно и то же, мог бы стерпеть, встречая почти на каждой странице мысли, которые прямо противоречат тому, что он сам положительно признал верным и решенным? И затем, как неприятно ошибется тот, кто здесь не найдет никакой речи о том, чего именно здесь, по его мнению, непременно следовало искать, так как приемы его умозрения совпадают с приемами одного еще живущего великого философа, который написал действительно трогательные книги, но имеет только небольшую слабость — считать все, что он выучил и признал до своего пятнадцатого года, прирожденными, основными мыслями человеческого духа. Кто же захочет все это терпеть? Поэтому мой совет снова — оставить книгу в покое.

Но я боюсь, что и этим не отделаюсь. Читатель, дошедший до устраняющего его предисловия, купил книгу на чистые деньги и спрашивает: что его вознаградит? Мое последнее прибежище теперь в том напоминании, что он может все-таки на разные лады употребить книгу и не читая ее непременно. Она может, не хуже многих других, пополнить пустое место в его библиотеке, где в хорошем переплете она, наверное, примет хороший вид, или же он может положить ее своей ученой приятельнице на туалет или чайный стол.

Итак, дозволив себе шутку (в этой вполне двусмысленной жизни едва ли какой-либо листок можно считать настолько серьезным, чтобы не давать места шутке), я предлагаю книгу с полной серьезностью, в уверенности, что рано или поздно она дойдет до тех, к которым она единственно может быть обращена, а впрочем, с совершенной покорностью тому, что и ее в полной мере ожидает судьба, которая во всяком познании, и тем более в важнейшем, выпала на долю истины, коей определено только краткое торжество, между долгими периодами, когда она как парадокс отвергается и как тривиальность не ценится. Первая судьба падает обыкновенно и на провозвестника истины. Но жизнь коротка, а правда действует далеко и живет долго: будем говорить правду.